

Рима РЮМЕР

г. Фленсбург (Германия)



Давным-давно и даже раньше

рассказы

Теперь я уже не так часто вспоминаю его. Лишь два раза в год, в июне и в сентябре — в день рождения и в день смерти моего деда, когда я приезжаю на кладбище и прохожу мимо могилы Владимира Семеновича, эта давняя история всплывает в моей памяти.

Сейчас его могила заросла так, что даже памятник увидишь не сразу. Да и кому за ней ухаживать? Жена тоже давно умерла и похоронена где-то в другом месте, кажется, даже в другой стране, сын живет не то в Парагвае, не то в Уругвае, и уже никто не помнит, когда он приезжал сюда последний раз. И теперь, глядя на эту могилу, ни за что не догадаешься, как много людей было в том далеком ноябре на похоронах «Большого доктора».

Из всей нашей семьи, знавшей Владимира Семеновича, на его похоронах была только я.

В нашей семье Владимира Семеновича, известного в городе врача и бывшего сослуживца моего деда, почему-то вообще не любили.

Бабушка называла его лошадиником: «Он к женщинам подходит, будто в конюшню въезжает».

Мама, говоря о Владимире Семеновиче, брезгливо поджимала губы: «Ах, он такой циничный, такой грубый». И добавляла, оправдывая: «Конечно, бывший военврач, фронт, война», словно фронт — это не заслуга для мужчины, а позорное клеймо до конца дней.

Я Владимира Семеновича не считала ни грубым, ни циничным. Я вообще не задумывалась, каким он был — он был моим спасителем, и я его просто обожала.

Мне только-только исполнилось девятнадцать, когда появились эти мучительные головные боли.

По инерции я продолжала ходить в университет, отсиживать лекции, но ничего не сообщала. Множились несданные конспекты, несделанные практические, непереведенные «тысячи» по английскому нарастали как снеж-

ный ком, но я ничего не могла с этим поделать.

К тому же в университете стоял вечный гул голосов, а на лестницах пахло застоявшимся сигаретным дымом, отчего мне становилось плохо.

А дома омерзительно пахло щами, и мне становилось плохо от запаха капусты.

Приходила моя тетка, мамаина сестра, и уже с порога от нее несло такой адовой смесью пота и резких дешевых духов, что я не знала, куда деваться от этого коктейля и громкого, на всю квартиру, теткингого голоса.

Боль начиналась от всего: звуков, света, запахов, — и ничего от этой боли не помогало. Даже книги, обычно успокаивающие при любой печали и отвлекающие от любой боли, меня больше не спасали: я не могла читать, потому что строчки расплывались перед глазами, и, чтобы сфокусировать на них взгляд, я тратила столько усилий, что было уже не до содержания книги.

Некоторое время я откладывала визит к врачу, уговаривая себя, что просто устала, перезанималась и скоро всё пройдет само собой. Когда же не прошло и обратиться к врачам все-таки пришлось, то я услышала от них примерно то же самое: переутомление, мигрень, вегетососудистая дистония, у многих девушек бывает, замуж выйдешь — всё пройдет.

Дома всегда было не до меня, а в ту зиму особенно: в тот год мою тетку, младшую мамину сестру, окончательно бросил муж.

Все десять лет теткингого брака и она, и бабушка, и моя мама этого ужасно боялись, но когда то, чего они боялись, наконец-то на самом деле произошло, почему-то упорно не хотели в это верить и действовали по привычной, выработанной за время предыдущих дядиных измен схеме: звонили и писали — то в комитет комсомола университета, где училась «эта проститутка», то на работу «этому мерзавцу», то еще куда-то, словом, все силы женщин нашей семьи были брошены на борьбу за удержание «этого подонка», «этого кобеля», «этого каплуна» (в дяди-тетингой семье не было детей), который еще недавно был «Илюшенькой».

Обстановка дома напоминала некий женс-

кий военный штаб во время генерального наступления.

Сколько я себя помню, она всегда была подобной. Начальником штаба — еще со времен многочисленных измен деда — была бабушка с ее жизненным девизом «Все мужчины сволочи», затем, когда из семьи ушел мой отец, к ней присоединилась мама, чуть позже — тетка.

Что за проклятие висело над женщинами нашей семьи?

Почему они никогда не жили со своими мужьями в любви и согласии?

Почему в их представлении мужчины были не то врагами, с которыми постоянно надо было бороться, не то добычей, которую надо было у каких-то врагов отбивать?

Не знаю. Но так они жили всегда — презирающие своих мужчин, порой их ненавидящие и в то же время готовые биться за них насмерть.

До меня никому не было дела, более того, чтобы не вникать в мои проблемы, чтобы не отвлекаться от размышлений — куда еще написать, чтобы «эту шлюху проучили как следует», а «этого кобеля» вернули в семью, меня просто обвинили в симулировании.

— У тебя ничего не болит, ты просто учиться не хочешь, — бросала мама, словно забыв о том, как хорошо и охотно я всегда училась, — просто выколачиваешь справку об освобождении и академический отпуск.

— Зачем мне это? — спрашивала я.

— Сама знаешь.

Приближалась зимняя сессия, надо было готовиться к экзаменам, но лежащий передо мной текст был совершенно недоступен.

Я не знала, что делать. А помочь мне никто не хотел. Я была один на один со своими проблемами, казавшимися мне тогда неразрешимыми.

Той холодной зимой я первый и последний раз в жизни думала о смерти.

Никогда, ни до, ни после, ни при каких других, по-настоящему сложных и тяжелых обстоятельствах своей жизни эта мысль не приходила мне в голову. Но то чувство крайней беспомощности, беззащитности и абсолютнейшего одиночества было настолько невыносимым, что его надо было немедленно прекратить.

Но как?

Меня удержала от исполнения, если так можно сказать, техническая сторона дела.

Отравиться? Но то, чем травятся, надо купить. А как? Ведь даже снотворное, которым травятся во всех романах и кинофильмах, продается только по рецепту.

Застрелиться — еще более маловероятно. Кто мне пистолет-то продаст? Да я и стрелять не умею.

Перезрезать вены? А где? У меня в жизни не было своей комнаты, я жила в одной комнате с мамой. А в ванной никогда — не знаю уж, из каких соображений — не было задвижки. Даже в уборной не закроешься — тут же начнут колотить: «Скоро ты?»

По той же причине и повеситься невозможно: негде (вешаться я, впрочем, и не собиралась — малоэстетично). Как странно: такое страшное, крошечное одиночество — и полная невозможность хоть где-нибудь побыть одной.

Оставалось одно: прогуливаться по краю тротуара и примериваться.

Но так страшно было шагнуть — и всё.

И самым страшным было не то, что «всё» (жизнь всё равно была и есть отвратительна и никогда лучше не станет, думала я), а усилие сделать этот шаг и предполагаемая боль от переезжающей меня железной махины. Хорошо бы это произошло как бы случайно... И хорошо бы — под наркозом...

Сейчас я пишу эти строки и думаю: а ведь, пожалуй, это та самая инфантильность, которая мне всегда мешала жить и не дала мне умереть!

Из-за своей инфантильности, из-за вечной нерешительности я не вышла замуж за того парня, которого любила, не сохранила его ребенка, наконец, не уехала жить, учиться, работать из того дома, где мне было так плохо, — словом, прожила не свою жизнь.

Но именно из-за инфантильности я ее и прожила.

Другие, сильные люди, те, которые брали жизнь в свои руки, — выходили за того, за кого хотели, невзирая на мнения родных, рожали детей от кого считали нужным и тогда, когда считали нужным, не задумываясь, рвали мучительные для них семейные связи — они-то,

эти люди, решив умереть, наверняка доводили дело до конца, и отсутствие средств и места не могли им помешать.

Итак, январь (с тех пор не люблю этот месяц), холод, снег, который почему-то кажется мне серым, беспомощность, безысходность, жуткое, беспроглядное одиночество, край тротуара...

В таком настроении и встретил меня как-то на улице Владимир Семенович.

— Ты почему такая грустная?

Мы почти не были с ним знакомы до этого, только здоровались. Я знала, что он врач, бывший сослуживец моего деда, отец Сережки, с которым в школе мы учились в одной параллели... И еще месяц назад мне бы, конечно, не пришло в голову делиться с совершенно, в сущности, посторонним человеком своими личными проблемами. Но так получилось, что Владимир Семенович оказался единственным, кто за последние месяцы спросил меня обо мне, и я прямо тут же, на улице, стала ему рассказывать, как нестерпимо болит голова, как я не могу ни заниматься, ни читать, ни спать.

О прогулках по краю тротуара я умолчала — было невозможно, стыдно говорить про такое.

Рассказывая, я совершенно забыла о том, что Владимир Семенович врач. Если бы в тот момент мной — моим настроением, состоянием, здоровьем — поинтересовался сантехник или университетский вахтер, я бы рассказала ему. Я уже не ждала от кого-то какой-то реальной помощи, не надеялась, что кто-то захочет или сможет мне помочь — просто больше не могла держать свой страх, свое отчаяние в себе. Владимир Семенович сказал:

— Ты ведь знаешь, где я работаю? Зайди ко мне завтра часика в три, я тебя посмотрю.

Я даже немного удивилась.

Дома к этой идее отнеслись скептически:

— А ты что, мало по врачам бегала? Еще не надоело? Что он тебе нового-то скажет? Или всё на справку надеешься?

Но я всё-таки пришла.

В белом халате Владимир Семенович казался еще массивнее, чем в уличной одежде.

— Так... Давай-ка мы рентген сделаем, а там

решим. И если рентген ничего другого не покажет, я тебе сам прокольчик сделаю. Не бойся, я сделаю очень-очень нежненько.

Я и не боялась. Я сразу поверила, что он не причинит мне боли: толстые пальцы-сосиски этого «лошадника», «хама», «грубияна» ощупывали моё лицо совсем не грубо, а очень-очень осторожно, так осторожно, что мне даже были приятны их прохладные прикосновения. И пахли они так славно — мылом и каким-то дезинфицирующим средством.

Рентген всё-таки показал «другое».

Об операции договорился тоже Владимир Семенович.

Родственники в больнице меня не навещали: до меня ли, когда «этот мерзавец» все-таки ушел и надо было поддерживать мою тетку, утешать ее, объяснять ей самой, а главное, всем окружающим, что это не ее муж бросил, а она его, а он на коленях ползает, прощения просит, умоляет вернуться, а то, что сразу же женился на «этой проститутке» («Ну, мы ей еще покажем!»), то исключительно с горя.

Девчонки с курса, конечно, прибежали пару раз: поахали над тем, как изменилось моё лицо после операции, притащили какие-то гостинцы, рассказали новости... Но разве с ними я могла говорить о том, как мне было больно и страшно, о том, чего я боялась и боюсь?

Только один человек мог это понять, и только одному человеку я звонила почти каждый день.

Соседки по палате рассказывали друг другу свою жизнь, обсуждали врачей и сестер, ходили куда-то «на телевизор», даже крутили больничные романы... Вся эта больничная жизнь проходила мимо меня. Проснувшись, я сразу высчитывала, сколько времени осталось до четырех часов, когда можно будет позвонить с сестринского поста, и почти всегда первая из отделения успевала в четыре схватить трубку, а поговорив, проводила остаток дня, прокручивая в голове слова Владимира Семеновича, его интонации, и с трудом доживала до четырех часов следующего дня.

Вскоре после выписки я уехала в санаторий, а когда в начале апреля вернулась в город, жизнь показалась совсем другой.

Наконец-то ярко светило солнце, а на тротуарах не было снега, и так звонко цокали мои

каблочки, так ладно сидели на мне джинсы, так красиво разлетались мои свежевымытые волосы!

И всё это — и ладно охватившие меня джинсы, и блестящие длинные волосы, и мою улыбку, и то, что я теперь здорова, здорова — и так хороша! — мне захотелось немедленно показать Владимиру Семеновичу.

Мне и в голову не пришло, что ему это может быть неинтересно.

Я сидела у него в кабинете, чирикала о своих делах, но главное — изо всех сил показывала себя: вот какой я могу быть! Не только заплаканной и несчастной, не только больной и беспомощной, но вот такой, и ещё вот такой. И вообще самой замечательной.

— Дай-ка я тебя посмотрю...

Опять эти осторожные, почти нежные пальцы пробегают по правой стороне моего лица.

— Давай завтра на всякий случай сделаем снимок.

Снимок подтвердил — здорова. Конечно, здорова. Как же могло быть иначе!

И только на улице я сообразила: если я здорова, то мне незачем больше приходить к нему. И что теперь?

А через неделю он встретил меня на улице, спросил: «Как дела?», и я, как тот дурак из анекдота, стала подробно-подробно обо всём рассказывать. И его «Заходи!» я восприняла совершенно серьезно. И действительно зашла. И еще раз. И еще раз.

Сейчас даже трудно вспомнить, какую чушь я несла у него в кабинете. Говорил ли что-либо он? Или просто улыбался, снисходительно слушая мой девичий лепет? Ничего из этого не помню!

Помню вазу на столе, в которой все время менялись цветы из больничного сада. Сначала это были ландыши, потом крупные садовые ромашки, флоксы, георгины... Значит, у меня, по крайней мере, хватало ума не приходить слишком часто.

Помню то отчаяние, когда он сказал, что с понедельника уходит в отпуск.

— Вы куда-нибудь уезжаете? — жалобно спросила я.

Вот тогда он впервые пригласил меня к себе домой. Посмотреть коллекцию марок.

Вообще-то, приглашение «посмотреть коллекцию марок» — такой же эвфемизм, как и приглашение на чашечку кофе.

И если не старый еще дядька, известный всему городу как циник и бабник, приглашает в свою пустую квартиру — жена и сын на даче — девятнадцатилетнюю девушку, то ясно, что имеется в виду совсем другое. Это «другое» как бы положено, как в отпуске на юге положено дочерна загореть, наестся впрок фруктов и завести курортный роман, и не важно, что ты не любишь валяться на пляже, терпеть не можешь фрукты, а курортный роман совершенно не нужен — так положено, а значит, так должно быть.

И я знала, что так положено, знала, что значит «посмотреть коллекцию марок», и шла как на заклятие, сама не зная — хочу ли я, чтобы что-то произошло, или боюсь этого.

Но ничего не произошло. Мы действительно смотрели коллекцию его марок. Добротную, объемную коллекцию, занимавшую несколько десятков темно-коричневых кожаных альбомов. А так как я тоже собирала марки, то мне был подарен альбом с небольшой коллекцией по теме «живопись».

Пружинка во мне разжалась, я расслабилась, откинулась на спинку кресла и осмотрелась.

Квартира была просто замечательной: просторной, обставленной в том несколько старомодном солидном стиле, который мне всегда нравился, а главное, в этой квартире было очень спокойно и тихо, никто не орал, как вечно орал у нас дома.

Все было замечательно в этой квартире: и она сама, и спокойный глыбообразный хозяин, смотревший на меня через толстые стекла очков, и то незнакомое мне прежде чувство, которое я даже не знала, как и охарактеризовать. Ощущение покоя? Умиротворения? Какого-то внутреннего равновесия? Скорее, правильности происходящего и желание это происходящее остановить, каждый его момент, с виду такой будничной и незначительный. Вот я замерла с альбомом на коленях — и век бы так сидела. Вот подняла голову, взглянула на хозяина, отвечая на его вопрос, — век бы так смотрела. А вот засмеялась какой-то его шутке — слушать бы его так всегда, смеяться и ни о чем не думать.

Второй раз он пригласил меня попить кофе —

опять эвфемизм, но теперь я пошла к нему совершенно спокойно, зная, что никакого второго смысла это приглашение не имеет — я действительно иду пить кофе. А то, что он приобнял меня, когда учил варить кофе по-турецки, — это просто так, можно сказать, по-отечески.

У каждой порядочной собаки должно быть своё место — место, где собаку нельзя наказывать, бить, место, где она может совершенно расслабиться. До сих пор своего места у меня не было. И как же быстро я привыкла к тому, что теперь оно у меня есть!

Я по-прежнему скорее не хотела, чем хотела, чтобы что-то произошло (если произойдет, то что с этим делать?), но постепенно вопрос: «Хочу ли я развития событий или боюсь этого?» трансформировался в «А почему же ничего не происходит?»

Нет, не то чтобы я этого хотела, но всё-таки — почему?

Что ему мешает? То, что он работал с моим дедом? То, что в школе я училась в одной параллели с его сыном?

Нет, мне не нужно было развитие событий, трафаретное продолжение, но то, что оно не нужно и ему, меня явно не устраивало.

Может быть, я просто ему не нравлюсь?

Наконец он поцеловал меня, и я успокоилась — нравлюсь.

А потом мне стало казаться, что он ходит вокруг меня кругами, и круги эти с каждым днём сужаются, и развитие событий меня уже не пугало — я словно под горку ехала.

И прикосновения грубых, толстых, неуклюжих на вид пальцев были удивительно «уклюжи» и приятны уже не только потому, что они подтверждали — нравлюсь, нравлюсь, а сами по себе.

Конечно, я проболталась дома.

Имя Владимира Семеновича просто не сходило у меня с языка, мне хотелось его упоминать по любому поводу.

Наверное, я была бы осторожней, если бы мне действительно было что скрывать, а так... Ведь, по сути дела, ничего пока не происходило! Да, заходила посмотреть марки. Да, заходила попить кофе... Да, Владимир Семенович сказал... Когда сказал? А вот в четверг я ему зво-

нила... Мне действительно было нечего скрывать, все было еще вполне невинно, а лишний раз упомянуть его имя было так приятно, словно я соприкасалась с ним в его отсутствие...

В тот день он позвал меня на собрание филателистов, о чем я — вот дура! — опять-таки проболталась дома. Сколько потом я делала в жизни глупостей, сколько ошибок, но мало о чем жалела так, как о той «проболтливости».

Было воскресенье, и, как всегда в воскресенье, у нас обедала тетка. Услышав про филателистическое общество и Владимира Семеновича, она тут же сказала, что тоже пойдет.

— Зачем? — наивно удивилась я. — Ты же никогда не собирала марки.

— Ну и что? Тебе что, что-то не нравится? Не нравится, да? Тогда ты и сиди дома.

Почему я не воспротивилась? Испугалась скандала, криков, оскорблений, да и понимала, что это все равно бесполезно.

...Когда я вспоминаю этот день, мне всегда хочется спрятаться куда-то под стол, сжаться в комочек, зажмурить глаза, а еще лучше — закрыть глаза руками и быстро-быстро сказать себе: «Не было, не было».

Помню расширившиеся до предела глаза Владимира Семеновича, когда он увидел, что я пришла со своей теткой. Он едва успел с нами поздороваться, как моя тетка начала делать то, что она называла «кокетничать».

Я всегда считала такой тон неестественным и вульгарным одновременно, а в тетке мне всё казалось ужасно некрасивым: и ее избыточный вес, с которым она боролась с тех пор, как я помнила себя, и мятое лицо в каких-то складочках и рытвинах, и крашенные в этот жуткий цвет «красное дерево» чахлые седые волосы, у которых, как всегда, уже отросли серенькие корни... Но Владимир Семенович смотрел на нее и улыбался, и я вдруг заколебалась: а может быть, это так и надо? Может быть, это я что-то не понимаю по молодости и неопытности?

Может быть, это не она толстая, а я тощая? Не она вульгарная, а я зажатая?

Может быть, этот слишком громкий голос и неестественный смех и есть самый шик, высший пилотаж, который я просто еще не понимаю?

Тетка говорила, гримасничала, жестикулировала, хохотала, показывая вымазанные губ-

ной помадой золотые зубы, и обращалась только к Владимиру Семеновичу, как будто меня тут и вообще не было. Я не могла вставить ни слова. А если бы могла, то что бы я сказала? Я чувствовала себя такой глупой, такой неумелой, что даже тогда, когда он обратился ко мне с каким-то вопросом, ответила как-то бестолково, просто что-то промычала. Я, которая наедине говорила с ним часами!

Владимир Семенович улыбнулся:

— Ты сегодня что-то не в голосе, Ириша! Пойдем, я тебя с людьми познакомлю, — и взял меня за плечо.

Моя тетка поперхнулась очередной тирадой и впервые с тех пор, как мы сюда пришли, обратила на меня внимание. Повернувшись ко мне, она хлопнула меня по животу:

— Что ты так вечно стоишь, живот выпятит!

Ни с какими людьми знакомиться я не пошла.

Не помню, как я ушла с этого собрания, как пришла домой.

Я больше не хотела видеть Владимира Семеновича. Я не могла его видеть — потому что больше не могла показать себя, показать такой, какой хотела показать.

По телефону я ему тоже не звонила — не могла, а когда позвонил он, отвечала как-то односложно, тем более что родственники стояли рядом, ловя каждое мое слово.

Так прошла неделя. А в следующее воскресенье, за обедом, тетка рассказала, что Владимир Семенович приглашал ее к себе, поил кофе, ухаживал, пытался обаять. Даже альбом с марками подарил — словом, проделал всё то, о чем по кусочкам рассказывала дома я, и то, о чем умалчивала. (Позже я попросила ее показать этот альбом, и она небрежно сказала: «А зачем он мне? Я же не подросток, чтобы марки собирать. Выкинула!») Конечно, все его старания не увенчались успехом: тетка, как взрослая, зрелая, умудренная опытом женщина, сразу его оборвала и поставила на место — зачем он ей, этот грубый, вульгарный, отвратительно толстый и старый мужик?

Почему-то я поверила, сразу же и безоговорочно, словно что-то такое и предполагала. Конечно, это не она старая, а я слишком молодая.

Это не она толстая, а я слишком тощая, у меня недоразвитая грудь и торчащие ключицы.

Заеда я уже третью тарелку бабушкиного жаркого булкой с маслом («Ладно, завтра сяду снова на диету!»), она рассказывала, как Владимир Семенович смеялся над моими визитами.

Просто еле терпел, когда я к нему заходила.

И опять я безоговорочно поверила. Конечно, смеялся. Так же, как сейчас, за столом, смеется надо мной вся наша семья.

Поверила, но попыталась жалко оправдаться:

— Но ведь он сам меня приглашал!

— Приглашал, потому что тебе этого очень хотелось. Пожалел бедную девочку, которая изо всех сил ему навязывалась.

Почему я слушаю? Почему я верю?!

Через какое-то время Владимир Семенович остановил меня на улице, но никакого разговора не получилось. Я бледнела, краснела, механически — помня теткинны слова — подбирала живот, чувствовала каждый прыщик не только на лице, но даже и на спине, и понимала, что больше никогда не смогу к нему пойти, как бы мне этого ни хотелось. Моего места, места, где мне было хорошо, больше не было, и я ничего не могла с этим поделать.

Эту историю мусолили у нас дома еще несколько недель.

— Интересно, — ехидно спросила бабушка, — а жена-то у него где в это время была? В отъезде? Ну-ну. То-то он женщин к себе и таскал. У мужиков бывает такое, когда им хоть куда, хоть в помойное ведро, все равно, кто подвернется.

Ну вот — тому, что еще только носилось в воздухе, тому, что я долго сама себе не могла определить, найдены определения — как всегда в нашей семье, самые грубые, самые вульгарные, самые пакостные, самые помойные. И теперь даже мои воспоминания всегда будут словно залиты помоями, и, если даже попытаться их отмыть, всё равно мерзкий помойный запах никуда не денется.

Поэтому я запретила себе вспоминать.

И лишь во сне нестерпимо остро чувствовала его прохладные пальцы, толстые, неуклюжие с виду пальцы-сосиски, особенно на правой стороне моего лица, там, где сейчас — шрамы и изменение пигмента, словно он навсегда оставил свои отметины

Наконец домашние, вдоволь поиздевавшись, замолчали, и даже бабушка, похихикав

еще некоторое время: — Что-то ты к лошадиному больше не бегаешь? Не зовет? — отстала.

Еще раз имя Владимира Семеновича всплыло в нашей семье через несколько лет: он умер, и мои домашние сладострастно мусолили какие-то грязные подробности его смерти.

Я об этих подробностях ничего не знала и знать не хотела.

Я просто была на похоронах Владимира Семеновича, того Владимира Семеновича, который помог мне избавиться от болезни, учил варить кофе по-турецки, играть в нарды и в доме которого у меня, как у каждой порядочной собаки, было — пока я его по собственной дурачности не потеряла — мое место. И плакала в три ручья.

Позже, став взрослой, я попыталась оправдать моих родных, объяснить себе, что они, дескать, всё делали для моего же блага, пусть грубо, бестактно, но в конечном итоге — ради меня, с добрыми намерениями, что они просто беспокоились обо мне, хоть и выражали свое беспокойство таким более чем диким способом.

И не смогла. Все доводы разбились о еще более раннее детское воспоминание.

Мне пять лет. Я отчаянно боюсь темноты, а в нашей с мамой комнате погашен свет, и я не могу его включить — выключатель за дверью, в коридоре. Я не могу выйти из комнаты — мамина сестра, моя тетка, которую оставили «посидеть со мной», держит дверь с той стороны. Я отчаянно пытаюсь эту дверь открыть, всем телом повиснув на дверной ручке, но разве может справиться пятилетний ребенок со здоровенной тридцатилетней теткой? От страха, от беспомощности я рыдаю на всю квартиру, а тетка радостно гогочет от выпавшего на ее долю развлечения.

Потом она скажет вернувшейся маме, что, дескать, просто пыталась отучить меня от страха темноты. Но у меня в ушах до сих пор звучит ее радостный гогот в тот момент, когда я рыдаю, и я ей не верю, не могу поверить. Не делают добро, унижая другого человека и приплясывая от удовольствия, наслаждаясь его унижением.

Никто не хотел мне добра. Просто развлекались за мой счет.

Эта давняя история с Владимиром Семеновичем не имеет никакого отношения к моей дальнейшей женской жизни.

Моя женская судьба — в отличие от всех женщин нашей семьи — вполне удалась.

У меня было много любви, был хороший муж, с которым мы родили и вырастили замечательную дочь.

Разве что, если бы не Владимир Семенович, я бы, возможно, вообще не жила. И ничего бы не было — ни мужа, ни дочки, ни этого рассказа.

А так — всё в порядке.

Может быть, и не стоит жалеть, что тогда всё так оборвалось?

Может быть, и не было бы ничего хорошего? Может быть, и вообще ничего не было бы, и круги, сузившиеся уже до предела, опять бы разошлись?

В любом случае эта история никогда бы не стала моей жизнью.

Но она могла бы стать кусочком моей жизни! Могла стать одним из тех воспоминаний, которые с возрастом так же приятно перебирать, как драгоценности из шкатулки, которые, скорее всего, никогда уже не наденешь, но которые так приятно подержать в руках и чьим блеском так приятно любоваться.

Она могла бы остаться моим воспоминанием. Хорошим ли, плохим ли, но моим!

Как бы мне хотелось переиграть то время! Оставить мое — мне. Не дать испачкаться. И если бы всё было, и было бы глупо и плохо — это было бы мое «глупо и плохо».

А может быть, не глупо и не плохо — теперь не узнать.

Если бы у меня тогда достало ума не слушать... Сил — не верить... Мудрости — не допустить до души... Если бы...

Но что уж теперь об этом. Поздно.

«Кастукасу, который профессор...»

Памяти К.И.А.

1

Меня всегда забавляло то, что Кастукас — профессор. В моем представлении «профессор» — это, например, наш дальний родственник Александр Бертрамович, толстый, медлительный, неповоротливый, про которого моя бабушка презрительно говорила, что он просто высидел диссертацию своим огромным задом.

Или же это П.В., который давным-давно, кажется, еще до революции, работал сельским учителем — смешной, длинноносый, сухопарый, держащийся столь неестественно прямо, что при виде его всегда приходило на ум устаревшее сравнение «будто аршин проглотил». Над речью П.В. посмеивалось не одно поколение студентов, а однажды, когда П.В. опоздал на лекцию, студенты сбежали, оставив ему на доске надпись: «Ждано, ждано, не дождано, плюнуто и уйдено», что в точности соответствовало неправильно-му диалектному выговору П.В.

Одним словом, профессор — это либо нечто старое и скучное, либо нелепое и смешное, и в том и в другом случае — бесполое, средний род, *neutra*.

Но Кастукас? Худой, стремительный, с легкой небритостью (потом, через годы, трехдневная щетина войдет в моду, а тогда это было его фирменным клеймом), тащащий на спине, как муравей, свою, казалось бы, неподъемную ношу — байдарку и огромный рюкзак, Кастукас, которому было все равно что есть (или не есть вовсе), все равно где спать (или не спать всю ночь), все равно что носить (хотя здесь я по молодости и провинциальности ошибалась, не понимая, что есть, например, джинсы — и джинсы, весьма и весьма отличающиеся по качеству, а стало быть, и по цене, и лишь много позже смогла понять и оценить, с какой изысканно европейской небрежностью он одевался),

Кастукас, который даже очки — этот общепринятый профессорский атрибут — никогда не носил? Этот легкий, беспечный, молодой Касту... Какой он, к черту, профессор!

...После первого курса я поехала на каникулы в Друскининкай, литовский курортный городок, тихий и скучный.

Сколько я себя помню, наша семья всегда ездила летом в Друскининкай и всегда оставалась у одной и той же хозяйки. И так же, как и мы, к этой хозяйке, Стасе, каждое лето приезжала огромная еврейская семья из Киева — «огромная» не только и не столько по количеству членов семьи, сколько по тому впечатлению, которое производила, заполняя собой всё воздушное и звуковое пространство не такого уж маленького Стасиного дома.

Утром я просыпалась от пронзительных голов женщин, уговаривающих детей встать и позавтракать. Чаще всего дети не хотели ни того, ни другого, и начинались долгие переписательства и уговоры. Когда же они все-таки вставали и приходили в кухню завтракать, то вновь возникала громко, на весь дом, обсуждаемая проблема: у этих толстых, перекормленных детей всё время, к ужасу мам и бабушек, был плохой аппетит.

С детьми вообще все время были какие-то — естественно, обсуждаемые на весь дом — проблемы: то они перегревались на солнце и их надо было лечить, то переохлаждались, простывали, и их снова надо было лечить, то съедали что-то «не то», сутками сидели в туалете, и, конечно, их снова надо было лечить. Наша семья волей-неволей оказывалась вовлеченной во все чужие дела: кормление, лечение, укладывание спать и тому подобное, потому что всё, что происходило в семействе из Киева, сопровождалось криком на весь дом.

2

Справедливости ради надо сказать, что раскормленные, толстые, неуклюжие дети шумели гораздо меньше, чем их мамы — еще более толстые, с откляченными задками и вечно растрепанными волосами. Я порой недоумевала: ведь причесывались же они когда-нибудь? Значит, хоть раз за все лето я должна была бы уви-

деть их причесанными! А если они не причесывались вообще никогда, то в конце концов на голове должен был бы образоваться колтун. Но нет! Волосы были всегда в одном и том же состоянии растрепанности!

Еврейских мужей, отцов, дедушек я не помню — то ли они не приезжали, то ли терялись, становились незаметными на фоне жен, мам, бабушек. А женщины были видны и слышны всегда и всюду: в доме, в саду, на пляже, в магазинах и на улицах городка, — донельзя самоуверенные, шумные, категоричные. Когда позже в каком-то женском журнале я увидела рубрику «А я делаю так», то подумала, что наши летние соседки могли бы быть ее постоянными авторами — столь несгибаемо они были уверены в том, что всё, что они делают, правильно и важно всему миру.

В тот год, когда я поступала в университет, летнюю поездку мы пропустили.

Зато за год до этого соседки по летнему дому замучили меня вопросами о том, куда я собираюсь поступать. Узнав, что на филологический, они стали ахать над моей бестолковостью, объяснять моей маме, что на филфаке всегда училось мало мальчиков, а значит, «вашей девочке будет трудно устроить свою жизнь», и советовать «поступить девочку» на медфак.

И если до этих разговоров я еще колебалась: поступать ли на филологический или, по стопам деда, на медицинский, то после них без колебания подала документы на филфак.

...В этот раз, впервые поехав в Друскининкай одна, я решила, что у Стаси не останюсь ни за какие коврижки. Родителям я, конечно, во избежание лишних расспросов, ахов и охов об этом ничего не сказала и на перроне искренне обещала передать приветы Стасе и ее мужу.

Мимо нас к поезду прошла компания парней с байдарками, сложенными палатками и огромными рюкзаками, но я не обратила на нее особого внимания — подобные компании в то время меня никак не могли заинтересовать.

Но через сутки, когда выяснилось, что поезд опаздывает в Вильнюс на несколько часов, а это значит, что на электричку, идущую в Друскининкай, я в этот день не успею и ночевать придется неизвестно где, я пошла по вагону, чтобы найти местных жителей и расспросить

их о вильнюсских гостиницах. Вот тогда-то я и увидела эту компанию снова.

Нет, с легким акцентом ответили на мой вопрос парни — как выяснилось, студенты вильнюсского университета, попасть в Вильнюсе в гостиницу невозможно. Я и сама это подозревала: в те годы попасть в гостиницу «просто так», без блата или командировочного удостоверения, было практически невозможно ни в одном из городов страны. (До сих пор помню, что в то время меня так потрясали сцены из иностранных кинофильмов, в которых герои стихийно, незапланированно останавливались на ночь в первом попавшемся отеле, что я их — эти сцены — помнила даже тогда, когда содержание фильма начисто стиралось из моей памяти.)

Тогда, может быть, можно остановиться на одну ночь у кого-нибудь из них?

Нет, это тоже невозможно: они все живут в общежитии.

— Если только у того человека, — показали мне на сидевшего поодаль высокого, худого парня, с трехдневной, тогда еще не вошедшей в моду, небритостью. — Спросите у него.

— А он не в общежитии живет?

— Нет! — почему-то засмеялись студенты. — Он дома живет.

3

Я спросила, и парень сразу же согласился. Впрочем, не такой уж он был и парень, как мне показалось с первого взгляда: взрослые глаза, окруженные мелкими морщинками. Лет двадцать семь-двадцать восемь, подумала я.

Было уже совсем поздно, когда мы сошли с поезда: я со своими чемоданами, в которые по провинциальной наивности упаковала три купальника и немереное количество летних нарядов, от мини до макси, и этот парень, с огромным рюкзаком и как-то хитро пристроенной поверх него байдаркой похожий на труженика-муравья.

Войдя в его квартиру, я остолбенела.

Двухкомнатная квартира, так называемая «полураспашонка» (однорукавная распашонка, если быть точной), была практически пустой. А длинную стену в большой проходной комнате сплошь занимали книги. Но меня поразило не количество книг — иметь большую библиотеку в

нашем кругу было естественно, а то, что они стояли не в шкафах, не на полках, а просто стопками, во всю стену, от пола почти до потолка, повернутые корешками к середине комнаты, чтобы можно было отыскать любую. Я видела комнаты с книжными полками от пола до потолка, со стеллажами, сделанными по особому заказу, но такого — никогда.

— Вы, наверное, только что переехали? — догадалась я.

В тот момент мы еще были на «вы». Впрочем, в тот момент я еще не знала, что он Кастукас, — мы не успели познакомиться.

Кастукас засмеялся:

— Ко мне недавно заходил водопроводчик. Посмотрел на книги и тоже спрашивает: «Вы, наверно, только что переехали?» — «Да, — говорю, — недавно, два года».

...Я проснулась на каком-то узеньком диванчике в маленькой комнате.

Кастукас спал на полу проходной комнаты под книгами, в спальном мешке. Утром он казался старше, его красила и молодила улыбка.

В кухне я нашла чай в пакетиках и пачку с обломками печенья.

Если бы ночь закончилась близостью, я бы просто ушла, не дождавшись, пока он проснется. Но после дружеского тепла и участия уйти, не попрощавшись, было невозможно.

Он проснулся и мгновенно включился в день и в мою жизнь.

Собрался за пять минут, и мы полетели на вокзал. Кастукас оказался единственным человеком в моей жизни, который ходил быстрее меня. Позже он рассказывал, что студенты, завидев его стремительное приближение к аудитории, говорили: «Он уже летит». Кастукас действительно двигался так, как будто летал. Потом я поняла, что «легкость» — это вообще основное определяющее его образа. Легкость движений. Легкость походки. Легкость в общении с людьми. Легкость в быту.

О том, что он Кастукас, я узнала уже в поезде.

Помню расширившиеся в пол-лица глаза соседки по купе, когда она поняла, что мы ночевали в одной квартире и только теперь, на ее глазах, знакомимся. Бедняга просто не могла понять, что «ночевать в одной квартире» не всегда означает «заниматься сексом».

Еще больше расширились ее глаза, когда после знакомства мы всю дорогу до Друскининкай проговорили о литературе, причем не «а вы читали ли?..», а о специфических литературоведческих проблемах. Мы совпали по специальности, это было впервые в моей жизни, и было так замечательно! Теперь, конечно, я понимаю, насколько наивными и смешными были для Кастукаса мои тогдашние рассуждения: он оказался не студентом, как я подумала сначала, и даже не аспирантом, а преподавателем вильнюсского университета. И даже кандидатскую диссертацию он уже давным-давно защитил, а теперь готовился к защите докторской. И лет ему, к моему огромному удивлению и сожалению, оказалось не двадцать семь, а сорок три.

4

Мы приехали как-то слишком быстро. Кастукас вызвался найти мне комнату и, переговорив на вокзале по-литовски с квартирными хозяйками, нашел ее быстро и легко — слишком быстро и легко.

Слишком быстро, несмотря на мои тяжелые чемоданы, мы дошли-долетели от вокзала до комнаты.

И когда он, наконец, поставил мои чемоданы в маленькой чистенькой комнате, мы не смогли просто попрощаться: слишком много осталось еще недосказанного, так много, что просто невозможно было не встретиться еще раз.

...Мы не избежали общих мест курортного литовского романа — музея чертей, колоколов, музея Чюрлёниса, но в целом роман складывался столь непохоже на все мои предыдущие романы, что я считала — это и не роман вовсе.

Его литовское имя — Кастукас Ионас — казалось непривычным и сложным для российского слуха. Сам он для россиян писал на обратной стороне своих визиток «Константин Иванович». Я звала его сначала Касту-кас, интонационно разбивая имя, потом сократила до Касту.

...Защитился он той же осенью и почти сразу получил звание профессора, что страшно меня сместило.

Балуясь, я писала на конвертах «Кастукасу, который профессор», пока одно из писем не вернулось обратно с припиской «Укажите фамилию».

...Всю жизнь у меня оставалось очень мало вещественных воспоминаний о романах. Ни одной картины после романа с художником. Только две скульптуры после нескольких романов со скульпторами. Вот и из всех книг, написанных Кастукасом, — всего лишь одна, да и ту я сама себе купила много позже, когда у нас всё уже закончилось. Я так отчетливо помню обстоятельства этой покупки, как будто это было не двадцать лет назад, а вчера.

Летний вечер в моем родном городе, книжный киоск недалеко от моего дома, и я прошу мужчину, провожающего меня, подождать минутку, потому что в киоске замечаю «Мастерство перевода» Кастукаса.

Мужчина берет хозяйским жестом у меня из рук купленную книгу, небрежно перелистывает и спрашивает:

— Зачем это тебе?

— Невероятно! — отвечаю я. — Я хорошо знаю автора.

И в ответ слышу не заинтересованность, не восхищение, а брезгливо-презрительное:

— Кто только тебя не знает...

Удивительно, но я абсолютно не помню этого мужчину — ни его имени, ни внешности, ни подробностей наших отношений, ни того, как он был выброшен из моей жизни после произнесенной фразы, а вот голос, интонация, с которой эта фраза была произнесена, звучит в моих ушах уже много лет как напоминание о моей неразборчивости того периода, когда страх перед жизнью кидал к очередным, чтобы за проблемами с очередными спрятаться от настоящих проблем, которые я не имела мужества решать, как некоторые прячутся от проблем в бутылку.

5

Яне знала, что делать с собственной жизнью, и меня притягивала устроенность чужой. Не могла понять себя, и законченность, понятность чужого образа казалась столь притягательной.

Наверно, поэтому в молодости у меня не было ни одного вразумительного романа со студентом-ровесником. С нескладными прыщавыми студентами всё как-то не складывалось, и всеми моими героями-любовниками того

времени были сначала умные взрослые дяденьки, а потом, когда умные куда-то делись — кончились? перестали казаться умными? — просто взрослые дяденьки.

То, что дяденьки по большей части были женаты, никоим образом меня не смущало, даже нравилось: это позволяло мне полностью погрузиться в отношения, избавляя от сопутствующих бытовых проблем, жить в «здесь и сейчас», не размышляя о будущем. Помню свой любимый тост того времени: «Выпьем за жен наших мужчин, за то, чтобы они хорошо за нашими мужчинами ухаживали — ибо зачем нам неухоженные мужчины?»

Дяденьки же — все как один — считали это просто бравадой, в мою матримониальную незаинтересованность упорно не верили (или не хотели верить из самолюбия) и уверяли меня, что на самом деле я ужасно переживаю то, что по воскресеньям они ездят на дачи со своими законными, своими половинами, своими Ленами-Галями, что мне не удастся, как их Ленам-Галям, их законным, их половинам, стирать рубашки, варить борщи или делать что-либо еще, символизирующее женское счастье.

Некоторые в конце концов решали меня осчастливить разводом и предложением руки и сердца, но, к огромному их изумлению, эти осчастливливания закончились разрывом отношений с моей стороны.

Мои тридцатисеми-сорокалетние мужчины того периода имели разное образование, разные специальности, но всех их объединяло одно: они страшно гордились тем, чего уже достигли. Не важно, что это было: служебное положение, дача, «Лада», на которую они копили все десять лет, пока стояли в очереди для ее покупки, путевка в ведомственный санаторий, чайная ложка икры, которую могли себе позволить в ресторане во время отпуска...

Конечный результат, достигнутый финиш — вот что их определяло.

Но если это — устроенность их жизни, законченность, определенность их образа — притягивало меня, то их обидная снисходительность ко мне, двадцатилетней, не достигшей — всё еще не достигшей, по их мнению — какого-либо результата, вскоре стала раздражать.

Казалось, они были уверены, что раздача благ

уже закончилась и если я что-то не имею сегодня, то и не буду иметь уже никогда.

По сути, они расчетливо лишали меня главного преимущества молодости — перспективы.

Я всё еще была в процессе, в движении, а их жизнь сложилась полностью, в ней не должно было быть никаких значительных перемен, она шла по кругу, и они гордились этим.

Интересно, круг тоже гордится перед прямой своей завершенностью и законченностью?

А Кастукас был как стрела, нацеленная куда-то вдаль, куда он летел.

И, наверное, поэтому он, сорокатрехлетний профессор вильнюсского университета, казался мне тогда самым молодым в моей жизни.

...Мы потеряли друг друга задолго до того, как он умер.

Потеряли очень банально, как происходит у многих: нет никакой ссоры, просто встречи и звонки становятся всё реже, письма — всё короче, пока их полностью не вытесняют открытки по праздникам. И вот на какой-то праздник открытка не приходит, и ты не сразу спохватываешься, а когда спохватываешься, сердце не колотится в испуге, что что-то случилось...

Вспоминала ли я о нем в эти годы? Да, но не часто.

Хотела ли видеть? Пожалуй — если бы оказалась в Вильнюсе. Но так получилось, что не оказывалась.

6

О его смерти я узнала из некролога в «Литературной газете», где перечислялись заслуги Касту и говорилось о том, каким замечательным он был...

Я прочитала некролог и вычла год рождения — 1934 — из года текущего. Получила шестьдесят восемь.

Может показаться странным, но тогда я не особенно пожалела о его смерти.

Я предпочитала представлять Касту — Касту-легкого, Касту-летающего — мертвым, а не старым (а шестьдесят восемь — это, как ни крути, старость), а значит, больным, малоподвижным и уже почти вне жизни.

...Через несколько лет после смерти Касту я, как обычно в середине июня, плыла на пароме из Хельсинки в Росток, чтобы попасть на день рождения дочери, живущей в Германии.

Погода была ветреной, но мне не хотелось сидеть ни в каюте, ни в баре.

Я вышла на палубу и, кутаясь в куртку, обошла весь паром, пока, наконец, не обнаружила на корме защищенную от ветра скамейку. Правда, она оказалась уже наполовину занятой: на ней сидел худой, плохо выбритый мужчина в черной кожаной куртке и таких же брюках.

Против моего соседства он не возражал.

Мы разговорились.

Его звали Дитер, и он возвращался домой, в маленький австрийский городок, название которого тут же выпало у меня из памяти, после поездки на мотоцикле по Финляндии, Эстонии, моей родной Карелии и Мурманской области, что и определило тему нашего разговора.

Часа два мы проболтали о Карелии, где я прожила почти всю мою жизнь, а Дитер был впервые, о Мурманске, где я, в отличие от Дитера, так и не побывала, хотя собиралась много раз, о Финляндии, которую мы с мужем и дочерью изъездили вдоль и поперек... Дружно восхитились Таллином, где я, правда, была единственным раз — в детстве, но который тогда произвел на меня неизгладимое впечатление... Пожало-

вались друг другу на злобных карельских комаров, залетавших в палатку к Дитеру и в мою петрозаводскую квартиру, посмеялись над тем, как друг Дитера, с которым он путешествовал, потерял номерной знак своего мотоцикла и страшно боялся русских гаишников...

Мы проболтали часа два — о том о сем, беспечно и бесцельно, как болтают в молодости, когда впереди — вагон времени, чтобы всё увидеть, всё услышать, всё пережить и всё понять, когда впереди — не финиш, а бесконечно, одна за другой, как арки в аркаде, открывающие перспективы.

Дитеру из Австрии было шестьдесят два.

Касту сегодня было бы семьдесят три.

Он мог бы преподавать.

Мог бы написать еще несколько книг.

Мог бы путешествовать...

Водить машину...

Мог...

Да мало ли что он мог бы делать теперь! Если бы был.

Сентябрь 2007 — 31 марта 2008



Рима (Мария София Риветта) РЮМЕР

родилась в Санкт-Петербурге.

Окончила историко-филологический факультет

Петрозаводского государственного университета.

Пишет рассказы.

С 1987 по 1998 год публиковалась под именем «Марина Лишанская»

(альманахи «Мария», сборники «Голоса»,

«Все живое», «Жена, которая умела летать»,

«Какой прекрасный день», «Русская душа»,

ежемесячник «Молодой гений», журналы «Север» и «Карелия»).

В 2008 году под именем Рима Рюмер

выпустила «Книгу про нас».

Живет и работает во Фленсбурге (Германия).

